

ЭТОТ ФИЛЬМ — открытие в кинематографе. Этот фильм — открытие в педагогике. Событие в нашей духовной жизни. После него, я видела, в любой аудитории потрясенно молчат, а многие, не стыдясь, плачут.

...Сначала я думала, что это отчасти условность, когда в титрах дипломного ВГИКовского фильма «Прикосновение» увидела крупным шрифтом: «Автор сценария — Александр Суворов», и — рядом (мелко, тоненько): «при участии Альгиса Арлаускаса». Ну может ли быть автором фильма человек, никогда никаких фильмов не видевший?! И вообще ничего не видящий и не слышащий вокруг.

Потом мне стало стыдно за эту мысль...

Здесь Саша впервые стал хозяином фильма. Автором не только дикторского текста, который читает сам (пусть к его речи — речи человека, который не слышит самого себя,— поначалу не сразу привыкнешь). Не только соавтором сюжетных ходов. Но и — образной ткани фильма. Но откуда, скажете, образы у глухого и слепого человека, из чего, из какого «материала» они могут быть «сотканы»? Из того, что оставил ему жестокий недуг: осязательных, пространственных ощущений. И это, надо сказать, образы высокой пробы, как и само мышление Саши — ученого, педагога, поэта. Мышление яркое, творческое, свободное. Но впервые, пожалуй, эти образы «заговорили» языком кинематографа, решив грандиозную художественную и педагогическую задачу: озвучить, окрасить внутренний мир отрезанного от нас, как бы замурованного в себе человека. Причем не нашим собственным «домыслием», «переводом» этих образов в привычный для мироощущений обычного человека зрительный и слуховой ряд, а так, будто это он сам, Саша, вдруг «увидел» и «услышал» себя и окружающий его мир... чем? Нашими глазами и ушами.

Но для этого вначале — духовным, художественным слухом и зрением самого Альгиса, ставшего ему близким другом, «родственной душой», как Саша говорит. — Он мне давал задания: как бы я себе представил образно то или другое состояние человека, мира. Я не совсем справился. Но то, с чем справился, пригодилось: о педагогике, любви, мужестве, об ужасе ядерной катастрофы... Он очень хотел, чтобы весь фильм был как бы увиден моими глазами. Отсюда — черно-белый фон, только в самом начале — яркие краски, которых я ведь совсем не помню, потеряв зрение в три года.

Фильм населен памятными «обжитыми» для Саши вещами: старый темный высокий шкаф и репродуктор начала 50-х годов, окошко с тюлевой занавеской, за ним — озеро Иссык-Куль, на котором бывал Саша в детстве, слабый огонек за ним, который, как ему кажется, он помнит... Старые семейные фотографии, которые «показывает» нам, не видя, его рука. Альгис попытался «услышать», как исчезал у Саши слух, как голоса мамы, радио, шум за окном сливались в гаснущую канюшину... Затем койна с жесткой спинкой в интерьере. И — долгий, долгий темный туннель с топотом ног и мерцающим далеко-далеко вперед прожектором. Саши почти нет в кадрах: только рука, плечо, силуэт головы в окне электрички. Не его самого поназывают. А его мир. Его путь. На свет, к людям. Мягко и печально звучат его стихи.

«Моя мечта проста и недоступна,
Как огонек вдали за Иссык-Кулем...
Моя мечта — уйти куда угодно,
Хотя бы рядом, но без провожатых,
Сказать любому встречному два слова,
Без перевода выслушав ответ.
Хочу людей глазами — не руками
Увидеть ясно до деталей мелних;
Хочу людской, ушами не руками,
Услышать даже самый тихий шепот...».

Альгис шел от простой этики. А пришел к уникальному соотворчеству слепоглухого со «зряче-слышащим» с поразительным по силе таланта результатом. Ведь этот фильм, кроме всего, — ярчайшая иллюстрация и подтверждение того чуда, которое явила всему миру отечественная тифло-сурдопедагогика, молодая наука о развитии слепоглухих детей, созданная в нашей стране, начиная с 20-х годов, замечательными учеными И. А. Соколянским и А. И. Мещеряковым, поддерживаемая затем трудами выдающегося философа-марксиста Э. В. Ильенкова.

В основе фильма — тот же принцип, который на языке психологии А. И. Мещеряков назвал «совместно-разделенной деятельностью» взрослого и ребенка. То есть: душа, личность ребенка только и зарождается, только и развивается в процессе «совместно-разделенного», и со взрослым, и со всем обществом в целом, соотворчества над окружающим ребенка миром. (Начиная от простейших «трудовых» операций малыша — до высочайших актов творчества). Этот принцип один для всей педагогики, для всего развития личности в целом. И он становится крайне необходимым там, где речь идет о людях, обделенных самой природой. Для которых разрыв соотворчества с нами, с обществом поистине смерти подобен. Духовной смерти. Распаду личности.

НО КАК труден он, подлинный гуманизм... Как трудно, почти невозможно бывает, оказывается, «обычному» человеку признать равноправие с собой, полноценность личности этих людей — не в теории, а на практике. Куда легче извечный, «традиционный» взгляд на них, как на убогих существ, коих необходимо призреть, накормить, обушь-одеть, слезливо пожалеть — да и дело с концом.

Но чтобы развить до высот человеческого духа?.. Общаться, как с равными себе?..

...Бывает, — звучит в фильме голос Саши, — особенно в молодежной аудитории задают вопрос: а не гуманнее ли вообще не выводить таких детей из состояния полуживотного — полурастения? Те, кто попроще, предлагают отбраковать слепоглухонемых еще в раннем детстве, вообще не выдавать их из роддомов, как будто и не было... «Гуманисты» поизощренной говорят, что, если уж так вышло, что слепоглухонемой ребенок вырос, не лучше ли обучить его простейшему труду, чтобы не был на изживении у государства, и будет с него. Зачем высокий уровень духовного развития, воображения, нравственного чувства?.. Ведь чем выше уровень самосознания, тем глубже понимание своего несчастья. Человек, испытавший своего рода болевой шок, будет себя заживо оплакивать... — ...Так не гуманнее ли

Мариничева О.

СЛУШАЙ И СМОТРИ

Заметки об уникальном фильме «Прикосновение», снятом молодым режиссером Альгисом Арлаускасом в соавторстве со слепоглухим ученым Александром Суворовым

оставить несчастных вообще без психики — за бортом общества?.. Они и знать не будут о своем несчастье. Нечем будет знать. Но если довести эту логику до конца, — помолчав, продолжает он, — то вот что получится: так как боль вообще свойственна только живым существам, то не лучше ли уничтожить жизнь вообще? И тогда величайшими «гуманистами» всех времен и народов придется признать поджигателей атомной войны...

Эти мысли Саши, с их гранимой до детской простоты, прямотой — как и само его мышление, приводящее к изумительным собеседников своей цельностью, мгновенным скатыванием сути и умением стремительно свести глубинное, сложное и простому и ясному без ущерба для сути, весь этот строй мышления — лишь результат итог постоянной напряженной внутренней работы его души. По-детски живо и радостно, свежо и непосредственно вбирающей всякую малость, смешную чепуху жизни — и ее глубинные пласты. Вся низость жизни, мучительные разрывы бытия и идеала — и всю ее высоту. Не раз, уходя от Саши, я с другими людьми начинала чувствовать себя как бы в разреженном воздухе — после интеллектуальной, нравственной плотности общения с ним. «Завяса Ильенкова», — объясняют мне друзья Саши. Да, масштаб мышления, бетховенски-мощную тональность восприятия жизни, наполнявшую теперь этот фильм, Саши перенял у своего учителя, выдающегося философа Ильенкова, для которого Саша был больше, чем просто воспитанник и ученик.

...Когда-то я тоже испытал болевой шок и всерьез задумывался о самоубийстве, — продолжает звучать с экрана голос Саши. — Я написал об этих мыслях Эвальду Васильевичу Ильенкову — по сути, своему духовному отцу. И вот что он мне ответил: «Дорогой ты мой человек! По существу ведь речь идет о том, зачем человечество вообще вышло из животного состояния? Тяжкая оно, сознание, вещь, когда мир устроен не по-человечески, а ты знаешь, как он должен быть устроен. Нельзя ни в коем случае поддаваться минутам отчаяния. Я прожил 50 лет и знаю — они все же проходят, эти минуты, и даже думать о выходе из игры не нужно. Надо бороться. Пока есть капли силы...»

Пальцы Саши на экране оцупывают металлические буквы надгробия: «Эвальд Васильевич...» Саша часто приходит сюда, на Новодевичье. Бережно гладит ладонями гранит памятника. Ильенков застыл в своей привычной позе: худая, совсем мальчишеская фигура в тоненьком свитере и джинсах, руки сцеплены за спиной, губы над висками откинуты назад, над высоким лесным лбом. «Он будто под порывом ветра, — всегда стоял лицом к ветру, — тихо смеялся о нем кто-то из их общих друзей. Ох и злые же часто были ветры! Для него, его дела, его идеи. И как не хватало тогда, в конце 70-х, этому мужественному человеку одной, последней капли силы...»

Они подолгу стоят здесь вместе: учитель-философ, похороненный на подростка, и выросший его ученик — широкоплечий, рослый. В снегу ли, в палой листве... Им нужно быть вместе. Ведь их общая борьба не утихла — наоборот, обострилась. По-прежнему тревожна судьба эксперимента в Загорском детдоме, о котором мы не раз писали в газете. По-прежнему остра и непримирима борьба двух подходов в работе со слепоглухими детьми, а значит, — и к проблеме развития человека в целом. Ибо Ильенков всегда считал, что слепоглухота лишь обостряет, обнажает проблемы, общие для всего человековедения, для гуманизма в целом. Эти два подхода борются и в самом детдоме. Вот запись звучащего в фильме монолога молодой, но очень энергичной и истово убежденной в своей правоте женщины, работающей в детдоме:

— В этих детей очень много вложено. Очень много. А отдача? Нужно об этом прежде всего подумать. Потому что государство их не обидело, и не обидит: прописка московская,

звание, квартира. Зачем? Они же ничего государству дать не могут. Отдачи нет. Нулевая она!.. Вы посмотрите, какой вклад финансовый в эти четверки. Это все для престижности! Давайте вниманием похляйски, по-государственному, по-человечески, по-разумному... Вот вы посмотрите, чем они живут? Это же все надуманное! Какой вклад они могут дать в науку? Надо же пользу приносить. Я считаю, что пусть маленькое дело, маленькую специализацию, но чтобы он морально чувствовал, что он дело делает, маленькое, но дело... Много ли таких домов, которым отпущено 300 тысяч в год на 50 воспитанников? Имеют ли возможность нормальные, интеллигентные дети — вот вы, другие дети, — имеют возможность так финансироваться? Нашему дому много дано, и мы должны готовить людей, которые давали бы отдачу. Маленькую, но отдачу... Да какая наука?! Какая наука?! Вот он напишет диссертацию. Кому?! Зачем?! Кто ее сможет применить, внедрить? Кому от нее польза будет?.. Да разве вы не заметили, что они все с отклонениями от нормы? А они у нас «самые интеллигентные!» Да разве может человек с такими большими аномалиями быть полноценным?!

Голос звучит все сильнее, все напористее..

И — тихим противовесом —

усталый, измученный голос Сашиной мамы:

— Помню, еще маленький, Саша пошел с сестрой погулять в парк. Приходит такой грустный, спрашивает: «Мама, как же я буду жить — меня никто не понимает, и я никого не понимаю?!» Я говорю дочке: «Идите, погуляйте еще». Ну вот, приходят они потом, он меня и спрашивает: «Мама, ты счастливая?» Я говорю: «Да, сынок, я счастливая...» А он: «Даже имея такого сына, как я?» Я говорю: «Да!..» «Ну вот, — говорит, — послушай: «Горькое счастье» — стихотворение написал». Я, конечно, его не помню сейчас. Лет девять ему тогда было. Он как раз тогда гложушь начал...

«Я весь мир посадил бы к себе на колени,
Как сейчас мальшша посадил».

Это — из недавних его стихов. Встречаясь с Сашей, я долго и мучительно думала: как можно ему вот так, без оглядки, без перестраховки, страстно любить всех людей — открыто, всей душой? Ему, не видящему людей и в то же время знающему далеко не из книг силу не только людской отзывчивости, но и жестокости, злобы? И каждый раз убеждалась: в том-то и дело, что не любить — невозможно. В этом и есть его сила. И его драма.

ИЗ ДНЕВНИКОВ САШИ:

«...Раньше я тяжело переживал недостаточность мне живописи, спонтанной кино. Потом меня удалось убедить, что и достигнутое совсем немало. А вот как быть, если я наконец почувствовал, что значит — «ненаглядный»? Ненаглядность не допускает никаких суррогатов, никаких переводов-пересказов. Ненаглядных можно видеть только своими глазами, слышать только своими ушами. То, что мне надо, другой не увидит; о том, что мне надо, другой не расскажет. Очень просто, но для меня недостижимо: сидеть в стороне, чем-то своим заниматься — и иметь возможность, бросив беглый взгляд, каждую секунду знать, кто чем занят из находящихся в той же комнате, а иногда слышать и тех, кто в соседней... Сидеть в стороне — и любоваться! Каждым движением, каждой позой, чего нельзя потрогать, даже если бы разрешили. Прикосновение может разрушить естественность, непринужденность. Это ли не громадная потеря — невозможность любоваться? Она почти равнозначна невозможности любить. А как тогда — жить?»

...Как ужасающе бедны конкретными деталями мои образы, как они невыносимо абстрактны! Если бы среди моих знакомых был великий художник слова, если бы он свободно говорил дантильно и если бы он согласился часок посидеть со мною на детской площадке, рассказывая об окружающих нас детях, описывая их позы, любые действия, передавая их речи... И если бы еще был скульптор, который согласился тут же бы вылепить все, что только можно..

Но и это был бы суррогат. Любоваться можно только самому, а если это физически невозможно, то ничего не поделаешь — терзайся не терзайся. И не терзайся иногда — нелзя! Я ведь живой человек, а живые чувства не желают поспешно угасать, как только рассудок растолкует им всю их бессмысленность. И правильно делается, что не гаснут. Тогда мой мир, и без того нищий, был бы еще беднее...

Я люблю все человечество — тут святая святых, основа основ моего мировоззрения. Из всего человечества особенно люблю детей — это смысл моей жизни. И если дружба с детьми не получается, я должен снова и снова, с новыми и новыми, всю жизнь добиваться, чтобы дружба получалась. Иначе просто незачем жить. А перестать жить, раз не получается, кому ума не хватало! «Жить — не напряз, а долг», — написал я недавно».

Эти строки он писал не так давно после мучительного для него открытия, что он не может удержать надолго внимание «обычного» ребенка. После счастья короткой дружбы, которым опалил его сердце соседский десятилетний мальчик. Он был ни в чем не виноват, тот маленький кузнечик, умчавшийся в свою жизнь, к своим товарищам. Умчался, оставив в сердце слепоглухого взрослого друга нестерпимую боль.

И мучительный поиск новых, никому еще неизвестных путей преодоления недуга в общении с детьми. И — море Сашиных стихов. Я впервые открыла для себя педагогическую поэзию — по силе чувства сравнимую разве что с горечью Летчика, потерявшего в пустыне мальчика по имени Маленький принц...

Но вспомним: весь этот яркий, прекрасный и трагический мир наотмашь зачеркивают те страшные «откровения» женщины-педагога. Будем знать, что у нее есть сторонники, в том числе — официальные лица, имеющие отношение к Загорскому детдому. Им было честно предложено высказать в фильме свою точку зрения. Участвовать в съемках они наотрез отказались. Альгис предупредил, что процитирует их мнения. Вот они — хоть мне несказанно больно их писать:

«Этот бред больного человека. Отвечать на него — значит предстать в смешном виде перед зрителями».

«Суворов рисует мрачную картину существования сле-

поглухонемых у нас в стране... Это будет черный, аполитичный фильм».

Они выдержали свое соавторство в самом главном, эти двое молодых людей. Коммунист Александр Суворов и Альгис Арлаускас, о котором Саша говорит: «Он тихий-тихий, а есть в нем что-то стальное. Чем-то он мне напоминает Ильенкова».

Их короткий, всего в тридцать три минуты фильм — это их оружие, их боевая листовка в борьбе со слепоглухотой нравственной, духовной. С тем «сереньким бывальцем», который, по выражению Саши, «готов терпеть кого и что угодно — пока ему не разрешат «почернеть».

Это очень важно понять: на педагогическом участке, в маленьком Загорском детдоме, на судьбах его воспитанников и выпускников идет сейчас не просто научно-теоретическая, а идеологическая битва двух концепций, двух подходов к человеку: подлинно марксистской и «традиционной» — обывательской. Именно поэтому Саша Суворов каждый выходной садится в электричку и уезжает в Загорск, к ребятам, — той же дорогой, какой ездил к нему когда-то Э. В. Ильенков.

Прозрачными тенями, как отражение в окне, — силуэты сидящих рядом с ним в электричке людей. Или других: спящих, жующих, спешащих, танцующих... А в глазах, лицах большинства — сон, сон, сон... Сон души, сон мозга. И каким разительным контрастом с ними — Сашино лицо, появляющееся только в последних, финальных кадрах. Чуть запрокинутое, ослепленное до боли ослепительным счастьем встречи с его маленькими загорскими друзьями. Бережное, чужкое прикосновение его сильных рук к маленьким, слепым детским ладошкам. Сколько надежды, сколько тревоги и боли в этом прикосновении!

...УЧАСТНИКИ международного конгресса, что проходил недавно в Москве под девизом «Наука. Человечество. Гуманизм», после просмотра фильма «Прикосновение» и встречи с Сашей были поражены уровнем его развития, его мышления.

Я знаю: когда-нибудь так и будет, что гордиться мы будем в первую очередь развитием человека во всех сферах. Его интеллектуальным, нравственным уровнем. Масштабом личности. Так когда-нибудь и будет — и в нашей обычной школе, и особенно в среде людей, самой природой отторгнутых от общества, но именно нашим обществом поставленных на вершину развития человеческой личности.

Так будет. А пока... Пока у Саши Суворова, как и у остальных выпускников детдома, работающих в науке, даже нет своего секретаря. За информацией в море специальной литературы Саше помогают сидеть друзья и... его мама. И катастрофически падает, «оползает» уровень развития загорских ребятшек, не поддерживаемый ни новыми мощными методиками, ни горячей деятельностью заботы большей науки и разнообразных ведомств.

И так слышны, очень громко слышны уверенные в своей правоте голоса «оппонентов». Они ведь сильные не только в окружении Саши и загорских ребят. Многим, очень многим из нас еще только предстоит прозреть — духом и сердцем.

Прошу ректорат ВГИКа, руководство Госкино СССР и Гостелерадио СССР считать эту статью заявкой на подачу дипломной работы А. Арлаускаса (операторы Л. Ковалов и А. Колмогоров) по Центральному телевидению и в широком кинопрокате.

О. МАРИНИЧЕВА.